

«Задача Йорт... в том, чтобы показать:
некоторые раны нельзя исцелить».

ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ

ЖИВА ЛИ МАТЬ



ВИГДИС ЙОРТ

«Вигдис Йорт – одна из главных современных
скандинавских литераторов».

DÅGENS NYHETER

Вигдис Йорт. Знаковый скандинавский роман

Вигдис Йорт
Жива ли мать

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.113.5-31
ББК 84(4Нор)-44

Йорт В.

Жива ли мать / В. Йорт — «Эксмо», 2020 — (Вигдис Йорт. Знаковый скандинавский роман)

ISBN 978-5-04-169848-5

В романе «Жива ли мать» Вигдис Йорт безжалостно исследует проблематику взаимоотношений мать — дочь. Это сильное, мудрое, но и жесткое произведение на очень важную тему. Когда-то давно Юханна порвала все отношения с семьей. Годы спустя она возвращается в родные места и пытается понять, что же на самом деле стало причиной их болезненной разобщенности. Для этого ей жизненно необходимо поговорить с матерью. Однако все ее попытки до нее достучаться — тщетны. Мать не берет трубку, не отвечает на письма, ее словно бы и нет на этом свете. Юханна наблюдает за жизнью семьи издалека. Она должна продолжить свои попытки. Должна ли? «Я покинула мужа и семью ради мужчины, которого они считали сомнительным, и ради занятия, которое они находили отталкивающим... не приехала домой, когда отец заболел, не приехала, когда он умер». «Они сочли это ужасным, я ужасна». «Тем не менее, я позвонила матери. Разумеется, она не ответила. А я что думала? Чего ожидала?» «В реальности все не так, как в Библии, когда блудное дитя возвращается и в честь него устраивают пир». «Задача Йорт... в том, чтобы показать: некоторые раны нельзя исцелить». — Галина Юзефович для Meduza.io «Безжалостный, но плавный литературный стиль Вигдис Йорт работает безотказно». — Financial Times «Вигдис Йорт — одна из главных современных скандинавских литераторов». — Dagens Nyheter «Вигдис Йорт в своем творчестве выступает против репрессий, табу и за то, чтобы говорить о сложных темах так, как это было бы в реальной жизни». — New Yorker

УДК 821.113.5-31

ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-04-169848-5

© Йорт В., 2020

© Эксмо, 2020

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

26

Вигдис Йорт

Жива ли мать

Vigdis Hjorth

ER MOM DØD

Copyright © CARPELEN DAMM AS 2020

Published in the Russian language by agreement with Banke,

Goumen & Smirnova Literary Agency, Sweden

© Наумова А., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Она сообщила бы мне, если бы мать умерла. Это ведь ее обязанность?

Как-то вечером я позвонила матери. Это случилось весной, потому что днем ранее мы с Фредом гуляли по острову Бурёйя и было так тепло, что я перекусила, сидя на скамейке возле пролива Усесюнд. Из-за того звонка ночью я почти не спала и радовалась, что утром мне предстоит встретиться с Фредом. Я дрожала. Мне было стыдно, что я звонила матери. Нельзя было, и тем не менее я позвонила. Нарушила наложенный на меня запрет. Впрочем, отвечать она не стала. В трубке послышались короткие гудки, значит, вызов отклонили. Однако я звонила снова и снова. Зачем? Не знаю. Чего хотела этим добиться? Не знаю. И откуда этот цепенящий стыд?

К счастью, на следующий день мне предстояла прогулка с Фредом по Бурёйе, я отчаянно ждала ее, надо только поговорить с Фредом – и внутренний трепет утихнет. Я забрала его с вокзала, Фред сел ко мне в машину, и я рассказала о содеянном: я позвонила матери. Пока мы шли к парковке, пока гуляли по острову, я выворачивала себя перед Фредом, но ему вовсе не казалось странным, что я звонила матери. «По-моему, нет ничего странного в том, что тебе хочется поговорить с матерью». Мне по-прежнему было стыдно, зато дрожать я перестала. «Мне же нечего ей сказать», – проговорила я. «Не знаю, что я сказала бы, сними она трубку», – сказала я. Может, я надеялась, что мне вдруг что-то придет в голову, если она ответит и в трубке послышится ее голос: «Алло».

Я сама заварила эту кашу. Почти три десятилетия назад я сама решила бросить мужа, семью, страну, хотя, если судить по ощущениям, выбора у меня не имелось. Я покинула мужа и семью ради мужчины, которого они считали сомнительным, и ради занятия, которое они находили отталкивающим, выставляла картины, которые они полагали позорными, не приехала домой, когда отец заболел, не приехала, когда он умер, не явилась на отцовские похороны, как им еще к этому относиться? Они сочли это ужасным, я ужасна, их ужасал мой отъезд, я оскорбила их, не приехала на похороны отца, для меня ужасное произошло намного раньше. Они этого не понимали, а может, не желали признавать, мы не понимали друг дружку, и тем не менее я позвонила матери. Позвонила матери, хотя это непростительно. Разумеется, она не ответила. А я что думала? Чего ожидала? Что она снимет трубку, словно ничего непростительного в этом нет. Что я себе возомнила, что я имею хоть какое-то значение, что она обрадуется? В реальности все не так, как в Библии, когда блудное дитя возвращается и в честь его устраивают пир. Меня мучил стыд за то, что я пошла наперекор себе и дала понять матери и

Рут – а мать наверняка расскажет ей о моих звонках, – что не удержалась, в то время как они, моя мать и сестра, своего решения не изменили, им и в голову не приходило мне позвонить. Наверное, они поняли, что я вернулась. Скорее всего, время от времени они читают про меня новости в Интернете и давно выяснили, что готовится некая выставка-ретроспектива, что у меня появился норвежский номер мобильного – не зря же мать не взяла трубку. Они сильные и стоят на своем, а я слабая и инфантильная. Как ребенок. К тому же им и не хочется со мной разговаривать. Получается, это я хочу с матерью поговорить? Нет! Но я же звонила ей! Меня мучил стыд за то, что какая-то часть меня хотела с ней поговорить и что я, позвонив, показала матери, что хочу этого, что нуждаюсь в чем-то. В чем же? В прощении? Возможно, именно так ей и кажется. Но у меня просто не было выбора! Зачем же я звонила, чего добивалась? Не знаю! Мать и Рут полагали, будто позвонить меня заставило раскаяние, они надеялись, что я раскаиваюсь и мне плохо, что я тоскую по ним и хочу наладить отношения, однако мать трубку не снимает – что я себе возомнила, если я вернулась на родину и хочу общаться, они примут меня с распростертыми объятиями? Нет уж. Я сама это выбрала – и теперь меня ждет раскаяние. Вот только я не раскаивалась! Им казалось, будто у меня был выбор, и это раздражало меня, но с раздражением легко смириться, по сравнению со стыдом раздражение – это ерунда. Откуда этот парализующий стыд? От разговоров с Фредом мне стало легче. Мы бродили вдоль берега по дорожкам, усыпанным шиферной крошкой, в море плавали утки и лебеди, на повороте возле Усесюнда я нашла мать-и-мачеху и сказала себе, что это к счастью. Дома я налила в стаканчик для яйца воды и поставила туда цветок, однако он скоро увял. Сейчас осень, первое сентября. Моя первая за тридцать лет осень в Норвегии.

Перед тем как позвонить, я выпила, немного, пару бокалов вина, но все же выпила, иначе не позвонила бы. Я нашла в справочнике номер и дрожащей рукой набрала его. Если бы я мыслила трезво, то не стала бы звонить. Если бы я заранее заставила себя трезво мыслить, представила наиболее возможные варианты развития событий в том случае, если мать ответит, я бы не позвонила, я бы поняла, что нам обоим ничего хорошего мой звонок не принесет. Звонки мои были неправдоподобными, нерациональными. Они остались без ответа. Мои мать и сестра мыслили трезво, а я нет, может, как раз этого я и стыжусь? Поразмысли я трезво – и поняла бы, что, даже если бы мать ответила, того, что называют разговором, не вышло бы. Наш с матерью разговор сделался невозможен. Однако я не задушила свой неразумный порыв, не мыслила разумно, решила поддаться этому на удивление сильному порыву. В каких же глубинах он зародился – вот что я пытаюсь выяснить.

Того, что называется разговором, между мной и матерью не было тридцать лет, а возможно, вообще никогда. Я познакомилась с Марком, тайком подала документы и поступила в институт в Юте, где он преподавал, уехала с ним за море, бросив мужа, семью, эти события уложились в одно-единственное жаркое лето. Верно говорят – взгляда бывает достаточно, одного взгляда, я светилась негасимым огнем, это воспринималось как предательство и издевка. Написав тогда длинное письмо, я объяснила, почему мне это необходимо, излила душу в письме, но в ответ получила короткую отписку, словно никакого моего письма и не было. Короткую категоричную отписку с угрозами, что меня отлучат от семьи, впрочем, если я опомнюсь и поскорей вернусь домой, меня, возможно, простят. Они писали так, словно я ребенок, которым они имеют право распоряжаться. Они перечисляли, чего им стоило – морально и материально – вырастить меня, поэтому и я им немало задолжала. Насколько я поняла, они и впрямь так считали, я у них в долгу. Они и впрямь считали, что я должна отречься от своей любви и работы, потому что в детстве оплачивали мне занятия теннисом. Они не воспринимали меня всерьез, читали мое письмо с враждебностью, угрожали. Такую власть имели в свое время над ними их родители, в такую дрожь вгоняло их родительское слово, особенно написанное, что они

думали, будто их собственные слова воздействуют на меня с такой же силой. Я написала новое письмо, где объяснила, насколько огромное значение имеет для меня обучение искусству и кто такой Марк, а они снова ответили так, словно моего письма не было или они не читали его: перечислили расходы, возникшие, когда они купили квартиру, чтобы во время учебы я жила поближе к университету, и когда я вступила в брак, который теперь своим незрелым поступком выставила на посмешище, предала свежее испеченного супруга и унизила его родных. Надо мне срочно избавиться от мыслей, которыми этот М. заморочил мне голову. Искусству удается прокормить лишь немногих счастливых, и я к их числу не принадлежу, это очевидно. Это ранило меня, а еще их уверенность в том, что такие приемчики заставят меня отказаться от новой жизни, вернуться домой к моему долгу, приспособиться, хоть и искалечив себя, к их жизни. На их письмо я не ответила, а перед Рождеством послала поздравления, милое, ровное письмо, где рассказывала о городке, в котором мы жили, небольшом огорожке, в котором выращивали помидоры, о том, как в Юте меняются времена года, написала так, будто бы и не было их предыдущего письма, поступила с ними так же, как они со мной, всем счастливого Рождества! В ответ я получила похожее письмо – короткое и ровное, с Новым годом! Время от времени я отправляла им программы выставок или открытку из путешествия, а когда родился Джон, я отправила им его фотографию. В ответ он тоже получил письмо: дорогой Джон, добро пожаловать в мир, с любовью, бабушка, дедушка, тетя Рут. Когда ему исполнился год, ему прислали серебряную кружку, с любовью, бабушка, на двухлетие он получил серебряную ложку, а в три года – вилку. В первые годы сестра изредка присылала мне короткие весточки о самочувствии родителей, только если случалось нечто особенное – одному удалили камни в почках, другой поскользнулся и упал на лед, никаких «дорогая», никаких вопросов, короткое предложение о том, как чувствуют себя мои родители, пока, Рут. Когда они были относительно здоровы, такое случалось редко. Подтекст был такой: она, бедняжка, вынуждена в одиночку ухаживать за ними, мне же, эгоистке, все они до лампочки. Мне казалось, будто она пишет с укором, но возможно, мне так казалось как раз оттого, что я действительно ощущала некий внутренний укор? В ответ я желала скорейшего выздоровления. Но после того как мои триптихи «Дитя и мать – 1» и «Дитя и мать – 2» были выставлены в их городе, моем родном городе, в одной из престижнейших галерей, куда устремились толпы посетителей и немало журналистов, я перестала получать и лаконичные послания от Рут, и поздравления с праздниками от матери. Окольными путями, от Мины, чья мать по-прежнему жила по соседству, я узнала, что они сочли мои картины возмутительными, порочащими семью, особенно мать. Они по-прежнему поздравляли Джона с днем рождения, но без прежней теплоты. Больше мы от них ничего не слышали. О том, как живут мои родители, я не знала, полагая, что их жизнь представляет собой череду привычных ритуалов – это свойственно обеспеченным старикам, что они по-прежнему живут в доме, куда переехали в бытность мою подростком, в более богатом районе, нежели тот, где располагался дом моего детства. Ничто не свидетельствовало об обратном. Продай они дом – и я узнала бы об этом, в отношении денег они отличались щепетильностью. Представить себе родителей в комнатах дома, где когда-то жила, было нетрудно, и тем не менее я не представляла. Четырнадцать лет назад, когда я работала в съемной мастерской в нью-йоркском Сохо, а Марк лежал в Пресвитерианской больнице, Рут прислала мне короткое сообщение: у отца инсульт, его госпитализировали. И ни слова больше. Приехать она меня не просила. В течение следующих трех недель она время от времени коротко информировала меня о самочувствии отца, иногда приправляя сообщения непонятной медицинской терминологией, ничего дружелюбного в ее словах я не видела. По-моему, ей не хотелось, чтобы я приезжала. Мое присутствие лишь нарушило бы равновесие. За мной не закрепили никакой роли, поэтому я только добавила бы беспокойства, меня беспокоила сама мысль о такой поездке, поэтому я просто желала отцу скорейшего выздоровления. Двадцатого ноября она написала, что отец умер, неожиданное известие, оно тоже настигло меня в мастерской, когда

Марк по-прежнему лежал в больнице. На похороны я не поехала и не собиралась. Они меня об этом тоже не просили, Рут написала, что похороны состоятся там-то и во столько-то, точка. На следующий день после похорон с ее телефона мне пришло сообщение, но его написали они обе, в нем было написано «мы» и подпись – мать и Рут. Прощальное письмо. Матери было невероятно тяжело оттого, что я не приехала к больному отцу, не приехала на его похороны, она от этого едва сама не умерла, так они написали, я в какой-то степени морально убила ее, насколько я помню, именно так они и выразились, того сообщения не сохранилось, я его тотчас же удалила, о чем сейчас сожалею – сегодня, в этот сентябрьский день, интересно было бы прожить, нет, то есть изучить его. Я сочла это знаком устраниваться окончательно и следовать этому решению. Поздравлений с днем рождения Джон больше не получал.

Из категории «общаемся» мы перешли в категорию «враги», я так поняла, но на мне это никак не сказалось, я работала, заботилась о Марке и о Джоне. Дом продали, мать купила квартиру, мне прислали расчеты, деньги и деловое письмо от адвоката, однако нового адреса матери не сообщили, да и что с того. Приезжая ненадолго в Норвегию, мы им об этом не сообщали, когда Марк умер, я тоже им не сказала, они его не знали и ни разу не изъявили желания познакомиться. Когда Джон четыре года назад перебрался в Европу, в Копенгаген, я им не сообщила – с какой стати? – они его ни разу не видели. Я разговаривала с Миной, разговаривала с Фредом. Но когда Музей искусств Скогум предложил организовать двухгодичную выставку-ретроспективу моих работ, мне начал сниться родной город. Потом беседы с кураторами о том, какие картины следует привезти, участились, и я начала вспоминать о родном городе и днем. Я обещала выставить не менее одной новой работы, но создать ничего не получалось, я простаивала дни напролет перед холстом, однако мазки выходили равнодушными. Если вдуматься, то после рабочего угара, настигшего меня, когда Марк умер – я тогда несколько лет напролет прожила в мастерской, заглушая скорбь по нему, – я не создала ничего существенного. Сейчас скорбь стихла – возможно, поэтому или потому что я теперь жила одна там, где все принадлежало нам двоим? Я решила переехать домой, я по-прежнему называю это домом, сперва временно, до открытия выставки. Им я об этом не сообщила, с какой стати? Я сдала дом в Юте и сняла новую квартиру в новом районе возле фьорда, с лофтом, где можно оборудовать мастерскую – пенсия вдовы, которую я получаю после смерти Марка, это позволяла. Я живу в том же городе, что и мать, в сорока пяти километрах от нее, я нашла адрес в справочнике, она живет в доме двадцать два по улице Арне Брюнс гате, ближе к центру, чем дома, в которых я выросла. В справочнике я нашла и телефон.

Первые месяцы я по большей части сидела дома – города я теперь не знала, чувствовала себя чужой, и к тому же было это в конце зимы. По закованному местами в лед фьорду полз серый туман, холмы на горизонте походили на спящих далматинцев, тротуары обледенели. Изредка выходя на улицу, я порой ощущала неподалеку присутствие матери. В отличие от последних тридцати лет сейчас у меня действительно появилась возможность лицом к лицу с ней столкнуться. Впрочем, она вряд ли часто выходила из дома – в такую погоду, в холод, в гололедицу немудрено и шейку бедра сломать. Пожилые женщины вообще боятся сломать шейку бедра. Ей сейчас далеко за восемьдесят. Однажды февральским вечером я стояла возле билетного киоска на станции метро, и какая-то старушка попросила меня помочь ей купить билет. Я как раз недавно сама научилась покупать билеты в автоматах и помогла ей, она стояла совсем близко и казалась такой трогательно-доверчивой, с расстегнутой сумочкой и открытым кошельком. Купив билет, она спросила меня, не помогу ли я подняться ей по лестнице, и отказать у меня не получилось. Одной рукой она ухватила меня за локоть, другой придерживалась за перила, на шее болталась авоська, шагала старушка ужасно медленно, и я уже испугалась, что опоздаю на поезд, но не бросишь же ее. Чтобы успокоиться, я пересчитывала ступеньки,

их оказалось двадцать две. На перроне старушка рассыпалась в благодарностях, я отмахнулась, мол, это такая малость, старушка ехала в гости к дочери, и я смутилась.

Я позвонила матери, чтобы заново ее узнать? Чтобы увидеть, какая она сейчас? Поговорить с матерью, словно она не мать мне, а совершенно обычный человек, случайная старушка на перроне. Не может быть. Она совершенно обычный человек со своими «тараканами», но не в этом дело – мать не бывает совершенно обычным человеком для своих детей, а я одна из таких детей. Даже если она завела новые интересы, у нее появились новые черты характера, изменился темперамент, она всегда останется для меня матерью из прошлого. Возможно, она сама от этого мучается, быть матерью – настоящий крест. Матери надоело быть матерью, моей матерью, в каком-то отношении она ею больше и не является, но пока ее дочь жива, полной уверенности у нее быть не может. Возможно, мать всегда чувствовала, что быть моей матерью, оставаясь при этом собой, неосуществимо. Не исключено, что моя мать с самого моего рождения носила в себе желание не быть моей матерью. Тем не менее деваться ей было некуда, как бы она ни старалась. Хотя возможно, ей это удалось, и мое долгое отсутствие позволило ей забыть, что она моя мать, а тут я звоню и напоминаю ей об этом. Наверное, она такого не ожидала.

Она скажет, что сегодня она не такая, как прежде. Родители хотят, чтобы дети, став взрослее и мудрее, взглянули бы на них иными глазами – это вполне понятно. Но никто не вправе ждать или требовать от своих отпрысков, чтобы те отказались от представлений о матери, сформировавшихся у них в детстве, никто не вправе требовать от отпрысков, чтобы те стерли из памяти образ матери, сложившийся за первые тридцать лет жизни, и посмотрели на нее беспристрастным взглядом, когда ей будет семьдесят или восемьдесят.

Тем, кто видится с родителями часто, проще. Большинство моих друзей из тех, кто часто видится с родителями, сейчас проявляют к ним больше терпимости, чем прежде: жизненные перипетии обтесали шероховатости родительского характера, теперь родители более снисходительны и уступчивы, кому-то родители объяснили причину допущенных ранее оплошностей, а перед некоторыми – таких немного – даже извинились. Возможно, Рут наблюдала, как мать делается душевнее и мудрее, и матери, и Рут это, должно быть, пошло на пользу. Старый образ постепенно заменяется новым, или же оба образа сливаются в один, и жить с ним проще. Тот, кто не теряет связи с матерью и говорит с ней о прошлом, сам воссоздает прошлое, они вдвоем создают историю. Видимо, так все и происходит. Видимо, в памяти Рут сейчас все так, как того хочет мать.

Но мне рассказывали, что порой черты материнского характера, в детстве причинявшие ребенку страдания, к старости усугубляются настолько, что подавляют саму личность. Мать Мины всю жизнь пилила ее, а сейчас ее придирки сделались еще изощреннее. Мина каждый день возит ей в дом престарелых котлеты и суп, а мать донимает ее жалобами и придирками, так зачем же Мина это делает? Если она посетует на несправедливость, то мать убедится в своей правоте, говорит Мина, а такого удовольствия Мина ей не доставит. Мина наказывает мать, внешне не проявляя недовольства. Дитя и мать.

Когда я приняла решение вернуться домой, работа у меня пошла более споро, я принялась за картину, которая казалась мне многообещающей, я привезла ее сюда, через океан, но когда все связанные с переездом хлопоты завершились, работа застопорилась. Я начала новую картину, более весеннюю, потом позвонила матери, и работа остановилась. Мне следовало бы походить по музеям и галереям – обычно я так поступаю, когда не могу сдвинуть работу с мертвой точки, однако меня охватывал неведомый прежде страх общественного пространства. После смерти Марка я столько времени проводила в одиночестве, что стала избегать людей,

или, может, это оттого, что город сделался для меня незнакомым, или потому, что тут жила мать и я боялась с ней столкнуться? На улице я обращала внимание на всех пожилых женщин. Ссутулившись, они медленно заходят в метро. Держатся за поручни, прислоняются к дверям и стенам, с трудом встают, завидев приближающийся поезд, инспектируют содержимое старомодных сумочек – все ли на месте: кошелек, очки, ключи, я теперь и сама так делаю – где там мои очки? В аптеке они присаживаются на стул, сосредоточенные, газет не читают, на экран телефона не смотрят, сидят, отвернувшись от мира, или, наоборот, – повернувшись к тому, что ближе всего, в слегка подрагивающих пальцах – бумажный талончик с номером, смотрят на табло, где то и дело сменяются красные номера, все происходит так быстро, они боятся, что не успеют встать, как цифра погаснет, и они не успеют подойти к прилавку и получить нужное лекарство. Их старые тела мучит хвороба. Хворает ли мать? Зачем мне это знать? Носит ли мать слуховой аппарат? Зачем мне это знать? Просто интересно. Люди вообще любопытны до того, что от них скрыто. Из-за недостатка информации я выдумываю мать. Чего я добиваюсь? Мне интересно, каково ей живется. Не потому что хочу позаботиться, нет. Вот что мне хочется знать: как ты все это воспринимаешь? Каково пришлось тебе? И как ты видишь ситуацию сейчас, саму сущность ее, то, что у нас общего, как ты ощущаешь ее? Неужели я так никогда этого и не узнаю? Неужели она так и не узнает, как оно было, каково мне? Она-то наверняка тоже задается этим вопросом. Что я думаю, каково мне, как бы она ни сердилась, какой бы несправедливо обиженной себя ни чувствовала, потому что я, как ни крути, ее почти шестидесятилетнее дитя.

Сколько матери лет? Много лет назад Рут прислала мне сообщение: сегодня маме исполняется семьдесят. В ответ я попросила передать ей мои поздравления. Наверное, это было до смерти отца, значит, сейчас ей восемьдесят пять или больше. Я не помню, ни в каком году она родилась, ни дату, а выяснить это намного сложнее, чем кажется. Можно узнать у Рут или у брата матери, его телефон есть в справочнике, но узнавать, какой у матери день рождения, – нет, это исключено. День рождения у нее осенью. Я помню, как мы праздновали ее сорокапятилетие, наверное, ей столько исполнилось, потому что Торлейф тоже с нами был, мы с ним стояли в саду под фруктовыми деревьями. Возможно, я все перепутала. Однако я помню, как у меня сбивалось дыхание, а в животе образовался комок – так всегда бывало, когда семья собиралась вместе, такое ощущение, будто в руки мне совали готовый сценарий, ожидая, что я начну играть отведенную мне роль. Порядочная дочь адвоката, жена адвоката, студентка-юристка, это вызывало у меня неприязнь, это, а еще что все остальные, Торлейф, Рут и другие гости, неотступно следовали сценарию, придуманному матерью и отцом, особенно отцом, я помню ощущение несвободы и невозможности быть собой, к тому же я и не знала, кто я, и не имела ни малейшей возможности выяснить это там, где находилась, в родительском саду, на родительском празднике, я отчетливо помню чувство, будто я взаперти, в отчаянии. Я боялась, что вдруг не сдержусь – и что тогда? Торлейф, преисполненный благоговения перед отцом, Торлейф, который смотрел ему в рот, смех Торлейфа над отцовскими шутками, когда тот язвил над моими «причудами художницы», закатывал глаза, потому что я хотела поступать в Академию искусств и художеств, он называл ее академией распутств и убожеств, Торлейф смеялся. Я рано заподозрила, что отец на самом деле мне не отец. Когда мне рассказали историю Хедвиг, которая оказалась Ялмару Экдалу вовсе не дочерью, я подумала: вон оно что! Вот только если это подтвердится, стреляться я не стану – наоборот, мне будет легче, я освобожусь. Так я думала. Мать завела роман на стороне, может, стремительную интрижку, забеременела, но отец о чем-то догадывался, потому что я на него не похожа, и каждый раз, глядя на меня, мать вспоминала свою измену, ей становилось стыдно и страшно, что все обнаружится, наверняка так оно и есть, это все объясняет. Поэтому она вздрагивает, когда я неожиданно вхожу в комнату. Ты меня напугала! Отец в сотый раз рассказал анекдот про то, как воры залезли

в музей искусств и один спросил другого, какие картины самые дорогие. Те, что страшней всего, ха-ха! Если никто этого не понимает, это еще не искусство, ха-ха. Если ты вырос, но консерватором не стал, значит, у тебя просто мозгов нету. Это у меня не было мозгов. Мои попытки возразить разбивались о снисходительную улыбку, любое несогласие воспринималось как признак незрелого желания побунтовать, привлечь к себе внимание, вызывало смех. Торлейф смеялся, и у меня перехватывало горло, но я это выжгла. Горящий взгляд матери, когда она поняла, что я не собираюсь произносить никаких речей, и иссиня-ледяной взгляд отца. Впрочем, все это я давно выжгла.

Им известно, что я здесь, в городе. Мне позвонила Мина – она встретила возле озера Лангванн Рут и рассказала, что я ненадолго вернулась домой, однако Рут уже было обо всем известно.

Они не дают о себе знать. Принципиальные и гордые, они приняли решение, когда я не приехала на похороны отца, и решение это окончательное.

Я позвонила матери. Это случилось вечером, часов в десять, я полагала, что она одна. Я представила себе, как она смотрит телевизор. Нет, я представляю себе это сейчас, а тогда ничего я не представляла, я позвонила внезапно, мне вдруг пришло в голову позвонить, и я действовала, не успев подумать. Я тогда выпила пару бокалов вина. Мать не ответила. То есть сбросила звонок. Может, Рут заблокировала мой номер на ее телефоне? Рут наверняка считает, что матери вредно со мной общаться, и в какое-то степени так оно и есть. Рут знает, что я вернулась, и боится, что я позвоню матери. Она постарается пресечь любые контакты со мной. Защищая мать и саму себя, моя сестра заблокировала мой номер на телефоне матери. Вряд ли мать сама это сделала. Насколько я помню, с техникой у нее всегда были нелады. Хотя за это время много чего произошло могло, особенно после смерти отца. Возможно, мать стала самостоятельнее, но мне кажется, что в основном все делает Рут, особенно когда дело касается телефона. Однако может быть, я считаю, будто мой номер внесла в «черный» список именно Рут, потому что надеюсь, что мать отчасти хочет, чтобы я позвонила. Как бы она ни старалась стереть меня из своих мыслей, мое возможное равнодушие не оставляет ее равнодушной. Своим звонком я обретаю значение для матери. Думаю, это ей нужно. Даже если она думает, будто я звоню обвинить ее в чем-то, хотя спустя все эти годы, тридцать лет, она вряд ли так думает.

В доме по соседству с тем, где я выросла, жила пожилая женщина, вдова по имени фру Бенсен. Дети ее боялись: когда мы играли, она шикала на нас, если облокачивались на ее забор, бранилась, а стоило нам ухватить ягоду черешни с ветки, склонившейся над тротуаром, как фру Бенсен грозила полицией. Как впоследствии выяснилось, мать, в те времена еще молодая, тоже боялась фру Бенсен. Это одно из самых ранних моих воспоминаний, и по-прежнему болезненное. Мне было лет семь. Я играла в мячик – отбивала его о дверь гаража и ловила – и случайно бросила так высоко, что он упал в сад фру Бенсен. В окнах я никого не увидела, поэтому забежала в сад и достала мячик из клумбы возле веранды, после чего вернулась обратно и возобновила игру, но тут дверь распахнулась, фру Бенсен вышла из дома и направилась к воротам, а оттуда – прямо ко мне. Вцепившись мне в руку, она потащила меня к двери нашего дома и позвонила в звонок. Открывшая дверь мать тотчас же побледнела. Фру Бенсен обругала ее, мол, мать толком не воспитала своего ребенка, то есть меня, а ребенок этот незаконно залез в ее сад и помял пионы. Мать молчала. Защиты я от нее и не ждала – скорее боялась, что она меня тоже отругает, но надеялась, что она хотя бы попросит меня рассказать о случившемся. Однако мать не сделала ни того ни другого – мать молча, словно ребенок, стояла перед фру Бенсен, а когда та ушла, мать бессильно опустила на стул. Ноги у нее дрожали.

Безмолвные губы матери – неужели я и впрямь это видела? Мать вовсе не такая сильная, даже несмотря на то, что во мне ее власть и пустила корни? Значит, в определенный момент она стряхнула страх и молчаливость, сделавшись словоохотливой и общительной? Когда же это произошло?

Но возможно, после смерти отца боязливость и немногословие вернулись к ней и поэтому она не ответила на мой звонок – она боится меня? Телефон звонит, и от мысли, что это, возможно, я, у матери сдавливает грудь. Мать вспоминает собственную жизнь – говорят, с пожилыми людьми такое случается, в ее памяти появляется мой образ, и сердце колотится от страха. Мать видит газетную статью о выставке-ретроспективе, и кровь у нее в венах леденеет. Страх подстегивает человеческую фантазию, в мое отсутствие мать выдумывает меня, причем в ее представлениях я намного хуже, чем на самом деле. Но возможно, ее гнев сильнее страха. И вообще я, скорее всего, переоцениваю собственную значимость. То, что она не ответила на мой звонок, вовсе не значит, что я вызываю у нее хоть какие-то эмоции. Мать просто не желает иметь со мной ничего общего. Мать наверняка научилась избегать связанных со мной воспоминаний. Учитывая ситуацию, оно и неудивительно, и тем не менее осознавать это странно. Так сложились наши жизни.

Сегодня четвертое сентября, два часа дня. Из мастерской я вижу небо, сейчас оно совсем синее и очень высокое. Еще я вижу фьорд, сентябрьское море бывает то серым, как сталь, то, как сталь, голубым, от больших кораблей пахнет нефтью. Свесившись с террасы, я вижу внизу огромные клены, едва тронутые желтизной. В пятидесяти километрах от меня живет, дышит мать. Если только она не перебралась на зиму в края потеплее, как поступают многие старики. Впрочем, сейчас холода еще не настали, в открытую дверь на террасу я выпускаю солнце, и если у матери есть терраса, а у нее она наверняка есть, то, возможно, через открытую дверь в дом к ней заглядывает то же самое солнце, что и ко мне, солнце желтое и греет всех. Чуть заметная колкость в воздухе напоминает об осени, осень – чудесное время года, осенью начинается учебный год с белыми тетрадными страницами и всем прочим. До ноября мать вряд ли уедет. Скорее всего, сейчас, прямо сию секунду, она планирует поездку, они с подружкой по имени Ригмур сидят за столом в квартире по адресу улица Арне Брюнс гате, дом 22, на кухне, которую мне сложно себе представить, разглядывают блестящие туристические проспекты и предаются мечтам. Мать давно смирилась с утратой дочери. Свою старость она не хочет тратить впустую. Почему же я не могу смириться с утратой матери? Хотя, может, с утратой матери я смирилась и просто не могу принять тот факт, что она смирилась с утратой дочери? Вот только я об этом тридцать лет не вспоминала. Ситуация кажется мне странной оттого, что я снова дома? Сперва было иначе, в первые месяцы, когда меня всецело занимали практические занятия – я распаковывала вещи, выбирала мебель, то и дело встречалась с кураторами, постепенно заново знакомилась с родным городом, он сильно изменился, вырос, и это мне нравилось, однако затем я завершила дела, пора было приниматься за работу, в самом разгаре зимы я сидела на террасе и смотрела на море, на паромы, ранним утром заходящие во фьорд. Вот тогда-то это и началось. Потому что я сама вот-вот вступлю в возраст задумчивости, потому что теперь заглядываю не только вперед, но и назад? Потому что у меня появились внуки и так проявляется моя сентиментальность, неужели мне больше не найти примирения с этим?

Я позвонила матери. Та не сняла трубку.

По мнению Рут, матери не следует со мной разговаривать. Мать не выдержит. Мать уже и так не выдержала случившегося, моего внезапного отъезда, моего порочащего ее ремесла, того, что в тяжелый момент я бросила их, не приехав на отцовские похороны. Мать наконец-то оставила меня позади, и общение со мной способно растравить ее раны. Я это понимаю.

Но когда мой гнев, вызванный тем, что меня заклеили как паршивую овцу в стаде, перегорел, возможно, материнское разочарование мною тоже выгорело? Но Рут рисковать не берется. Опасность того, что разговор со мной расстроит и обеспокоит мать, все еще велика, и Рут хочет этого избежать. Это понятно, когда мать переживает, заботы ложатся на плечи Рут. Мне кажется, мать часто переживает, однако, возможно, мне просто хочется, чтобы она переживала, чтобы она тосковала по мне и задавалась вопросом, как мне живется, и я проецирую свое желание на нее. Вероятнее всего, так оно и есть, потому что мать всегда обладала умением стряхивать с себя неприятные ощущения и сейчас – я уверена – это умение никуда не делось, потому что хоть я и не общалась с ней последние тридцать лет, зато двадцать с лишним лет до этого я наобщалась с нею предостаточно, и эти годы вьелись в меня, пережитого мною со счетов не сбросишь, особенно в ранние годы, когда видна была истинная сущность матери, когда она еще не научилась скрывать ее. Несмотря на то что обе мы за следующие тридцать лет изменились, ошибкой будет предполагать, будто восприятие ребенком собственной матери вследствие этого тоже поменяется. Детские представления о матери способны измениться лишь в том случае, если мать и ребенок постоянно общаются. Благодаря непрерывному общению моя сестра сейчас видит мать совсем не той, что в детстве. Таково преимущество общения – болезненные факторы мало-помалу отступают. Но за это, возможно, тоже надо заплатить. Дорого ли?

Я могла бы поехать к дому номер 22 по улице Арне Брюнс гате и посмотреть, где она живет.

Но на такую выходку я не способна.

Стоя в мастерской, я выдавливала из тюбика изумрудно-зеленую краску, когда ко мне вернулось воспоминание. Дорога до школы, тот раз, когда мы с матерью шли по ней вдвоем. Был солнечный апрельский день, высоко над нами – небо, в прохладном воздухе зеленели бледные березовые почки, я надела новый вязаный свитер, тоже зеленый. Я бы радовалась, если бы не материнский страх. Нам предстояла беседа с классной руководительницей, и строгую фрекен Бюе мать боялась так же, как и фру Бенсен, боялась, что фрекен Бюе так же, как и фру Бенсен, недовольна мною, а значит, недовольна и воспитавшей меня матерью. Вдруг фрекен Бюе считает, будто мать не справилась со своей важнейшей задачей, материнской задачей. Отец уехал к какому-то адвокату, и это усугубляло страх: в отсутствие отца мать делалась беззащитной. Я чувствовала это и дрожала – и за мать, и за саму себя, а та все замедляла шаг по мере того, как мы приближались к школе, но опаздывать тоже было нельзя. У школьных ворот она остановилась, обернулась ко мне и спросила: ты ничего дурного не натворила? Мне казалось, что нет, однако полной уверенности не было. Порой про себя я ругала фрекен Бюе, но ведь об этом никто не знает? Я нерешительно помотала головой, и мы зашагали дальше, отыскивали нужный кабинет, мать подняла задрапированную в рукав кардигана руку и постучалась. Фрекен Бюе пригласила нас войти, и мать открыла дверь. Фрекен Бюе сидела за кафедрой, перед нею стояли два стула, мы сели на них, и мать втянула голову в плечи. Фрекен Бюе заглянула в документы, мать посмотрела на руки. «Фру Хаук», – обратилась к ней фрекен Бюе, и мать подняла голову. Глаза у нее блестели, ей тогда было хорошо за двадцать. Фрекен Бюе сказала, что в математике мои успехи оставляют желать лучшего, мать кивнула и опустила голову. «Но зато она хорошо читает», – похвалила меня фрекен. И добавила, что у меня очень красивый почерк. Мать по-прежнему не поднимала головы. Фрекен Бюе достала мою пропись и открыла ее. Мать подняла взгляд. «А вот, посмотрите», – фрекен Бюе долистала до страницы, где я нарисовала каемочку, мать быстро взглянула на книгу, а потом на меня. «У Юанны талант к рисованию, – сказала фрекен Бюе, – директор хотел бы, чтобы она нарисовала школьное приглашение на Семнадцатое мая. Нарисуешь?» – с искренней гордостью обратилась ко мне фре-

кен. Я благоговейно кивнула. «Директор порадуетя», – сказав это, фрекен Бюе поднялась и протянула матери руку. Мать пожалала ее и кивнула, встреча закончилась, больше бояться было нечего. В коридоре мать выдохнула, наклонилась и, обняв меня, прошептала: «Я же говорила».

Что, интересно, она говорила и кому. Я от нее ни разу ничего не слышала – ни про красивый почерк, ни про каемочку, ни про Семнадцатое мая, но это не имело значения, домой возвращаться было легко. На площади Далс мы зашли в кондитерскую и съели по пирожному «Наполеон», мать два раза повторила про талант к рисованию и приглашение на Семнадцатое мая, я так радовалась. «Я же говорила». Я все ждала, когда она расскажет отцу, но того не было дома – он уехал в Лондон. Вечером, ложась спать, я поняла. Это отцу мать говорила про мой талант к рисованию, а отец с ней не соглашался. Я думала о том, как мать, разговаривая с отцом, хвалит меня, а отец не верит, хотя похвалы эти вполне заслуженные, и меня захлестывали чувства.

Когда это прекратилось, когда мать стала полностью принадлежать отцу?

Не знаю, сохранила ли мать до сих пор жизнерадостность, но думаю, сохранила, жизнерадостность была, по-моему, одним из ее основных качеств. Вероятно, ей удалось избавиться от мыслей о печалях и утратах, эту науку она в совершенстве освоила, еще когда я знала ее, если, конечно, мой образ матери не безнадежно устарел. Надеюсь, она сохранила жизнерадостность. С матерью, робкой, ребячливой, опасной в своей непредсказуемости, не бывало тяжело. Мать жила в мире легкости. Наверное, любить мать было несложно – тем, кто не приходился ей дочерью. С ней наверняка было легко общаться – другим, не мне, вот только с другими она общалась мало, в моем детстве внешний мир матери ограничивался домом, садом, семьей, магазином, но зато мать умела забавно пересказывать какие-нибудь сценки в магазине. Меня восхищала и раздражала материнская легкость, ее способность избавляться от неприятного, не вникать, сосредотачиваться на чем-то другом, на новом платье, *capre diem*¹ – так это называется, просто формулировалось иначе. Наверное, эта способность была для матери спасением, и для отца тоже, и для меня, ведь в противном случае мать со всей ее кипучей энергией сделала бы мое детство совсем иным, возможно, усложнила бы его. Я не сбрасываю со счетов материнскую жизнерадостность, я отношусь к ней серьезно и надеюсь, что мать по-прежнему веселая и сильная. А вот Рут не понимает, насколько мать сильная, или не желает понимать, потому что если мать сильная, то сила самой Рут значит меньше. Или же мать не показывает Рут своей силы, ведь мать зависит от ее заботы, и они обе придумали, что общения со мной мать не выдержит.

Я представляю себе, как Рут звонит матери в дверь, мать открывает и ехидничает про Ригмур, отчего Рут смеется. Возможно, ходить в гости к матери весело. Однако я вполне допускаю, что ходить в гости к матери утомительно, потому что мать хоть и жизнерадостная, но часто себя жалела – наверняка и сейчас жалеет. Изредка, жалея саму себя, мать вдруг начинала смеяться над такой жалостью, и от этой самоиронии делалось легче. Эта мысль вызывает у меня умиление. Но я понимаю, что сейчас мать едва ли сохранила способность к самоиронии. Потому что она старая, нуждается в помощи и у нее не хватает сил на самоиронию или же потому что считает, будто я предала и опозорила ее? Впрочем, возможно, все как раз наоборот, возможно, характер у матери стал легче, оттого что она избавлена от общения со мной? Нет, вряд ли. Думаю, навещать мать так часто, как приходится Рут, утомительно, и, скорее всего, мать просит Рут остаться на подольше, хотя у той нет ни времени, ни желания, а когда Рут

¹ Лови момент (*прим. пер.*)

уходит, мать огорчается. Потому что, несмотря на свою жизнерадостность, а может, именно из-за нее, из-за непосредственности, которая часто идет рука об руку с жизнерадостностью, мать – в те времена, когда я ее знала, – имела свойство разочаровываться. Часто причиной разочарования становились окружающие, особенно я. Как правило, мать разочаровывало общение с другими людьми: встретившись с Ригмур или еще кем-нибудь, мать возвращалась домой, разочарованная их словами, однако воспринимала все легко и весело, надо же, какие люди глупые. Навестив Рут в общежитии, мать возвращалась домой, разочарованная друзьями Рут и ее парнем – вечно тот высовывается, всезнайка. Разочарование матери было заразительным. Возможно, Рут навещает мать с радостью, потому что ей забавно послушать, как мать разочарована Ригмур или мною, если, конечно, они вообще обо мне говорят, скорее нет. Но не исключено, что навещать мать ей тяжело, ведь когда Рут покидает ее, мать бывает разочарована, а рано или поздно Рут приходится ее покинуть, в душе матери хочется, чтобы Рут отказалась от жизни с всезнайкой – если верить справочнику, они с Рут поженились и по-прежнему остаются супругами – и стала жить с матерью, однако Рут не может и не желает. Как раз наоборот. Возможно, у Рут двойственное отношение к матери, я бы не удивилась, если так оно и есть, но сама Рут этой двойственности не ощущает, потому что они с матерью сейчас вдвоем. Возможно, Рут навещает мать из чувства долга, а возможно – такое тоже допустимо – Рут вообще не навещает ее. Может, Рут освободилась от нее, как и я в свое время? Нет, едва ли. В отличие от меня Рут никогда не относилась к матери двойственно, Рут хотела того же, чего хотели для нее мать с отцом, по крайней мере, так казалось, Рут не противилась, не уехала, была рядом, когда отец болел, когда он умер, была матери опорой в ее скорби. Впрочем, это не означает, что у Рут нет своих причин отдалиться, откуда мне знать, как развивались между ними отношения после смерти отца, да и до нее тоже? Но если моя сестра лелеяла надежду освободиться от матери, мой отъезд усложнил эту задачу. В этом случае мать осталась бы совсем одна. Вместо этого Рут, осознанно или неосознанно, выбрала осудить меня и мою свободу, из солидарности с матерью признала меня предательницей, приняла сторону матери, вступила с ней в союз, иного выхода у нее не имелось.

Я прихожу к выводу, что Рут не порвала с матерью, мать и Рут держатся друг за дружку, они близки, потому что если бы Рут порвала с ней, мать ответила бы на мой звонок.

О повседневной жизни матери я ничего не знаю. Мне известен ее адрес, но я не представляю себе комнат, в которых она обитает. До смерти отца я представляла себе и мать, и отца в их доме, потому что я сама в нем жила, и, переехав в купленную отцом квартиру неподалеку от университета, я, как и полагается студентам, часто навещала родителей. Я ужинала у них по воскресеньям и Рождество тоже отмечала у них, где же еще. Торлейфа я тоже приводила домой, потому что они с отцом отлично поладили и Торлейф советовался с ним по всяким юридическим вопросам. Мне легко было представить себе их там, хоть я этого и не делала, нарочно я никогда не старалась представить, как они сидят перед телевизором в гостиной или лежат в гамаке на террасе. Однако вспоминая вдруг отца с матерью, я и комнаты вспоминала, словно своеобразный контекст. Сейчас мне сложнее представить себе мать. И сейчас я часто пытаюсь ее вспомнить. Наверное, это потому что я живу в родном городе. Когда я набираю в справочнике ее имя, на экране появляется фотография красного кирпичного здания, судя по всему, выстроенного в начале прошлого века, а больше я ничего не знаю. Что именно мать видит из окон. Теперь она живет одна. Наверное. Точно я не знаю. Возможно, у матери появился новый приятель, с пожилыми людьми такое иногда случается, да нет, вряд ли мать завела себе приятеля, хотя почему нет? Она не из таких. Каких – таких? Но особенно вот почему: заведи мать дружка – и я бы не значила для нее столько, чтобы проявлять принципиальность и сбрасывать звонок. Бескомпромиссность матери и Рут, их жесткость по отношению ко мне – они так стре-

мятся продемонстрировать мне это, а значит, все, что я думаю и чувствую, для них что-то да значит. Хотя возможно, я преувеличиваю собственную значимость, возможно, мать не отвечает на мои звонки из равнодушия – я уже несколько раз ей звонила. Нет, будь она равнодушной – ответила бы, хотя бы из любопытства. Ее принципиальность, скорее всего, отягощена жесточенностью, может, даже ненавистью, какую питаешь лишь к тому, кто для тебя имеет какое-то значение, кто занимает в твоей жизни то или иное место. Вряд ли у матери новый приятель, для нее теперь важнее Рут и семья Рут. У Рут четверо детей, мне Мина рассказала. Мне Рут ни слова не написала о своих детях, малышка Рут писала мне лишь о матери с отцом, и, видимо, писала она это по их желанию. Со временем Рут и ее семья заполняли все больше пространства в материнской жизни, мое отсутствие ощущалось все слабее, к счастью для всех. Мне кажется, что окружающий мир мать в настоящий момент не интересуется. Так оно было, когда я ее знала, впрочем, с тех пор могло много чего произойти, хотя нет, мать поглощена собственным крохотным мирком, да и кто из нас ведет себя иначе. Как, интересно, мать выглядит? На тридцать лет старше, чем в прошлую нашу встречу, когда же это было? Весной 1990-го, на Пасху в Ронданских горах? Вероятнее всего, да, но воспоминаний никаких не всплывает, может, я уже тогда душой попрощалась с ними? Рут с Редаром поженились годом ранее, я запомнила, как была одета на их венчании, в церкви, и где проходил торжественный ужин, однако ни отца, ни матери не помню. Запах материнских духов память воссоздает, она много лет ими пользовалась, я все собиралась зайти в парфюмерный магазин и понюхать их, но не помню ни названия, ни как выглядит флакон. В памяти осталась ее чуть торопливая походка, ее фигура и руки в кольцах, все эти годы одних и тех же, по крайней мере, когда я ее знала. Рут в любой момент способна представить себе мать такой, какая она сейчас, Рут известно, по-прежнему мать носит на правой руке тот крупный перстень из желтого золота с красным камушком. Для меня мать исчезла, сделалась чужой страной, она принадлежит мифической эпохе, я, в отличие от Рут, не вижу ее в теле, для которого начался обратный отсчет.

Как я поступила бы, узнай, что мать умерла или смертельно больна? Если моя сестра позвонит и скажет: мать умерла. Или: мать смертельно больна. Но сестра не станет звонить, для меня у нее нет слов. Она решила никогда больше со мной не говорить, а сестра из тех, кто от принятого решения не отступает. Если ей нужно будет что-то мне передать, она попросит кого-нибудь – адвоката, семейного юриста. Как мать отнесется к известию о том, что она смертельно больна, она, всегда такая внимательная к внешним ритуалам? Какие образы и воспоминания станут мучить ее? Мать, укрытая одеялом, узнавшая, что это последнее ее действие, что скоро все поглотит тьма, *rage, rage against the dying of the light*², я прекрасно представляю себе ее ярость, как она возражает, жизнью она не насытилась, *do not go gentle into that good night*³, и я вижу, что именно в такой момент проявляется ее жизненная сила, готовясь исчезнуть, она набирается мощи. Чтобы опередить ее, я представляю себе ее смерть, потому что не хочу становиться ее частью, потому что мать не хочет, чтобы я присутствовала там. Меня не позвонят, и если даже кто-то и предложит меня пригласить, мать откажется, *rage, rage against*, потому что я для нее – оставленная в прошлом неприятность. И если у нее появляется воспоминание обо мне или желание меня увидеть, она умолчит об этом, ради Рут. Если же мать, несмотря ни на что, наберется сил и выскажет такое желание, Рут сделает все возможное, чтобы оно не осуществилось, ведь во мне она не уверена. Вся ситуация, и так болезненная, станет совсем непредсказуемой, а закончится ужасно. Мое присутствие выведет мать из себя, а Рут не желает, чтобы мать умирала расстроенной, подобной смерти никому не пожелаешь.

² Ярость, ярость к гибели света (англ.).

³ Не опускайся нежно в эту ласковую ночь (англ.).

Обе они на таком расстоянии от меня, что я не в состоянии их видеть, и вместо этого я помещаю туда, где, по моему мнению, они находятся, двух призраков, это оно, Жуткое.

Что, если я поеду к дому номер двадцать два по улице Арне Брюнс гате и позвоню в дверь?

При мысли об этом я прихожу в ужас.

Друг для друга мы стали фру Бенсен.

Недавно в парикмахерской меня посадили возле пожилой женщины. Парикмахер накручивала ей волосы, а женщина громко с ней разговаривала. Вспоминаю, как мать возвращалась из парикмахерской, с замысловатой прической из длинных медно-рыжих волос она шагала по улице Трасоппвейен, была суббота, к ужину мы ждали отцовских коллег с супругами, мать была невероятно красивая и неприступно бледная, с крохотными веснушками на носу, будто коричневая крошка на капучино. Пожилая женщина в соседнем кресле тоже, возможно, когда-то была бледной, сейчас же ее кожа погрубела и покрылась печеночными пятнами, волосы сделались жидкими, завивать почти нечего, я подумала, жаль, если с кожей и волосами матери произошло то же самое. Старушка сетовала на опавшие листья, из-за которых тротуары скользкие, и боялась упасть и сломать шейку бедра. Если сломаешь шейку бедра, дело швах, – сказала она, – перелом шейки бедра очень часто – начало пути к смерти. Большинству из нас хочется пожить подольше. Вдруг мать сломала шейку бедра? Старушка сказала, что родилась в Фредрикстаде. Отец работал кузнецом в механических мастерских, это было в те времена, когда дым с фабрик опускался в холодные зимние дни так низко, что соседского дома не видно было. Немудреный мобильник, лежащий на столе перед старушкой, зазвонил, она испуганно уставилась на дисплей, будто звонил кто-то важный. «Да», – сказала старушка. И добавила, что она все помнит. «Я все помню», – проговорила она в три раза медленнее, но словно сомневаясь, что и впрямь все помнит. С обеспокоенной миной она отложила телефон и сказала, что это дочь звонит. «Как замечательно, что ваша дочь о вас тревожится», – сказала парикмахер. «Может, и так», – согласилась старушка, и обе замолчали. «В Фредрикстаде, – снова начала она, а парикмахер внимательно слушала, этому их учат в парикмахерском училище, – в Фредрикстаде, когда я была маленькой, по утрам на фабрике гудел гудок, и рабочие спешили к воротам. Хозяйки готовили еду для мужей и детей, нас было семеро. Мать умудрялась приготовить еду на семерых, и одежда у всех была чистая, хотя отец и зарабатывал довольно скудно. Мать была такая мастерица придумывать еду – у нее всегда было для нас припасено что-нибудь вкусненькое». Новому собеседнику старушка рассказывала это радостно, ведь, возможно, кому-то будет интересно послушать про ее детство в Фредрикстаде – насколько я поняла, дочь утратила всякий интерес, она уже много раз выслушивала про еду, порой мать совала им с собой кусочек сахара, это было в те времена, когда никто не знал, что сахар вреден для зубов. «Мать была необыкновенным человеком», – сказала старушка. Интересно, мать тоже теперь говорит так, как присуще всем старикам, – они не придумывают фразы, а повторяют придуманные давным-давно. В таком случае речь матери претерпела немалые изменения. Раньше мать говорила чуть сбивчиво и торопливо, будто нервничая, будто ее что-то донимает. Жизнерадостная с виду, но на самом деле полная тревог? Впрочем, возможно, она сейчас говорит совсем иначе, медленно, с запинкой, стыдясь собственной неспешности, думать об этом больно, жаль стариков.

Ходит ли мать в парикмахерскую? Да. Мать следила за собой, в этом смысле она вряд ли изменилась, печально, если мать себя запустила, но моя сестра наверняка позаботится, чтобы этого не произошло. Если мать сама не записывается в парикмахерскую, ее записывает Рут. Мне сложно представить, что тело и речь матери сделались такими же медлительными, как у

старушки в соседнем кресле, однако Мина – а она работает со стариками – говорит, что после восьмидесяти пяти даже самые бодрые меняются. Кажется, матери того и гляди исполнится восемьдесят пять, может, прямо сегодня? Вероятнее всего, мать посещает одного и того же парикмахера, записывается к своему постоянному мастеру, старики не любят изменений, я и сама хожу к одному и тому же парикмахеру, но это потому, что я недавно приехала и других знакомств у меня нет. Своему мастеру я не рассказывала, что уже тридцать лет не видела собственной матери, несмотря на то что она живет в том же городе. О подобных вещах рассказывать не принято. Подобное быстро не объяснишь. О чем мать разговаривает со своим парикмахером? О детстве в Хамаре? Уж точно не обо мне. Меня словно и не существует. Что мать отвечает, когда ее спрашивают о детях и внуках – пожилым клиентам парикмахеры порой задают такие вопросы, этому их учат в парикмахерском училище. Но вероятно, им также объясняют, что семья – тема скользкая, часто печальная, сложная и неприятная, поэтому тут надо с осторожностью. Ходить к парикмахеру – дело приятное, клиент платит и за проявление заботы, мастер завязывает с клиентами что-то наподобие дружбы, и отношение парикмахера не сравнить с тем, что бывает у врача, потому что у врача тебе скорее страшно или тревожно. Парикмахер кладет руки на плечи своей пожилой клиентке и ловит в зеркале ее взгляд. «Ну, вот мы и постриглись».

Если парикмахер осторожно спрашивает мать про семью, та отвечает, что у нее есть дочь, а у той – четверо детей. Четверо детей Рут взрослые, у них интересные профессии и спутники жизни, о которых и рассказать не стыдно. Никому и в голову не приходит, что одного из членов семьи умалчивают, это давно вошло в привычку. В груди у матери не колет, как в первые годы, когда упоминание о старшей дочери только стало нежелательным.

Возможно, мать завела обыкновение рассказывать о своей рано умершей матери, которой я не застала, о которой она ни разу не говорила, – видимо, та была необыкновенным человеком.

Теоретически я могла бы записаться в ту же парикмахерскую, что и мать. И тогда я, как недавно, сидела бы, уткнувшись в газету, но прислушиваясь к рассказам матери о внуках, имен которых я не знаю. А вдруг она начала бы рассказывать о своей старшей дочери, с которой давно не общается? Парикмахерская – вполне подходящее место для подобных признаний. С Рут мать не может говорить обо мне. Рут уже много лет назад надоело обо мне слушать, и мать прекратила эти разговоры, потому что Рут, скорее всего, сказала: тебе вредно о ней думать. Не обсуждает меня мать и со своим старшим братом, который, если верить справочнику, живет с женой в Транбюнде, потому что, признайся она ему, что я звонила, но она не ответила, он, возможно, заявил бы, что это она зря. А вот парикмахер так не скажет – его задача быть вежливым и понимающим, что бы клиент ни говорил, возможно, парикмахерская – единственное место, где мать может без утайки говорить обо мне. Интересно, что мать говорит обо мне парикмахеру? Может, выяснить, где она стрижется, и записаться туда?

В доме, где я выросла, и в доме, куда мы переехали в моей ранней юности, на большом антикварном комод в гостиной стояло множество фотографий меня и Рут. Это черно-белые снимки, сделанные профессиональным фотографом, когда нам было по три года. На головах у нас ленты, скрывающие челку. Потом рядом появились фотографии с конфирмации и свадебные, сперва мы с Торлейфом перед старой каменной церковью, чуть позже – Рут с Рейдаром на том же месте, снимок сделан летом перед моим отъездом.

Убрали ли мать с отцом тогда мои фотографии? Скорее всего, нет. В глазах постоянных гостей их дома это выглядело бы странным, внезапным и мелодраматичным, и к тому же все полагали, что я скоро вернусь. Я просто переживаю кризис и утратила ориентиры, но вскоре

приду в себя и отыщу дорогу домой. Думаю, они все на это надеялись – может, кроме Рут. И даже если я не приду в себя сама по себе, этот сомнительный М. все равно скоро меня бросит, и я, покинутая и несчастная, нарисуюсь на пороге родительского дома. Нет, мои фотографии наверняка простояли там довольно долго, но четырнадцать лет назад, после смерти отца, когда мать переехала в новую квартиру, снимки она с собой не взяла.

Я дожидалась поезда на вокзале в Борге после встречи с куратором, когда на лестнице показалась пожилая женщина. С трудом преодолевая ступеньку за ступенькой, она придерживалась за перила, чтобы не упасть и не сломать шейку бедра. Поднявшись, она принялась рыться в сумочке, выронила носовой платок, с усилием наклонилась и подняла его, снова порылась в сумке, нашла то, что искала, клочок бумаги, всмотрелась в него, опять полезла в сумочку, достала очки, вынула их из футляра, водрузила на нос, уронила очечник и, уставившись на бумажку, покачала головой. Она огляделась, кроме меня, на перроне никого не было, старушка заковыляла ко мне, протянула листок и спросила, на какой электричке ей доехать. Мне тоже пришлось слезить в сумку за очками – лишь в них я разобрала на бумажке название клиники. Я спросила, бывала ли она уже там, старушка покачала головой и показала себе на ухо. «Наверное, мне слуховой аппарат пора», – громко проговорила она, и я подумала, что она права. Почему ее никто не сопровождает? «Это на Брухолмене», – добавила она. «Тогда вам эта платформа и нужна, – сказала я, – вам в ту сторону». К счастью, мне в противоположную, а тут и электричка пришла. «Вот и электричка ваша». – Я подняла очечник и протянула старушке, поезд остановился, и она вошла в вагон. «Вам через две станции выходить», – сказала я ей вслед, она сосредоточенно кивнула и повторила: «Через две станции!» Детей у нее нет, или она с ними не общается.

Рут сопровождает мать к врачам. Или отправляет с матерью своих повзрослевших детей – они наверняка любят бабушку. Ночью мне приснилась старушка с вокзала. Будто бы я посадила ее не на ту электричку и старушка доехала до конечной станции, сидела тихо, как мышка, с впалыми щеками и жиденькими волосами, сжавшись в комочек, так что ее никто не заметил, машинист вышел из поезда и скрылся в ночи, а старушка осталась сидеть там одна, беззащитная. Мать!

Неужели я нарочно, чтобы помучить саму себя, выдумала, будто мать сидит одна на вокзале? Растерянная мать на перроне – радует меня эта картинка или расстраивает? У матери есть Рут и семья Рут. Наверняка Рут по-прежнему работает, но амбиций у нее поубавилось, поэтому появилось время помогать матери. Впрочем, никаких особых амбиций у Рут и не было, с чего я это придумала? Я совсем не знаю ее, на момент моего отъезда ей было чуть за двадцать, но достигни она каких-нибудь невероятных карьерных высот – и до меня наверняка дошли бы слухи об этом, однако в Интернете я никаких упоминаний о ней не нашла. Я выдумываю это, потому что Рут никогда не противилась матери с отцом, всегда поддерживала их суждения, чего бы они ни касались, их правила ее устраивали, она хотела жить так же, как они, а может, делала вид. Но если живешь по родительским правилам, значит ли это, что сам ты карьере не сделаешь? Как раз наоборот, многие успешные люди следуют правилам семьи и общества, чему и обязаны своим успехом. Мне кажется, будто Рут лишена амбиций, потому что я хочу, чтобы у нее было время ухаживать за матерью – иначе я буду чувствовать вину за то, что уехала и возложила ответственность за родителей на Рут. Поэтому убеждаю себя, что Рут не хотелось уехать и порвать с родственниками, ведь кому-то же надо водить мать по врачам, причем все чаще, потому что мать не молодеет. Рут тоже не молодеет, да и я, и все люди на земле с каждым годом становятся все старше.

Я могу нарисовать, как стареющая дочь ведет пожилую мать к врачу. «Дитя и мать – 3». Я иду в мастерскую и натягиваю холст, смотрю на него, надо его загрунтовать, я снова выхожу на террасу. Сегодня воскресенье, я звоню Джону.

Я не знаю, где работает Рут, я искала в Интернете, но не нашла. Когда я уехала, она изучала бизнес-аналитику, экономисты нужны во многих организациях и предприятиях. Я представляю себе, что она живет размеренной жизнью, в командировки ездит редко, потому что у нее четверо детей и мать. Несколько лет назад в Хитроу я столкнулась с ее давней детской подругой. Я пила кофе, когда какая-то женщина подошла ко мне и спросила, не Юханна ли я, сестра Рут, и я покраснела. Она представилась – Регина Мадсен, и я разглядела лицо девочки, спрятанное за лицом взрослой женщины. Раньше она жила в доме напротив и тоже боялась фру Бенсен. Спрятаться я не могла, как бы мне того ни хотелось, я стояла перед человеком, способным ответить на множество из накопившихся у меня вопросов о моей же семье, однако задавать их было нельзя. Проявлять интерес спустя все эти годы видимого равнодушия было бы неприличным. Она, похоже, поняла, что я ничего не знаю о Рут, но спрашивать мне неловко. По собственной инициативе она рассказала, что у Рут с Рейдаром и детьми все хорошо, все четверо отпрысков уже разъехались. Так получилось, что она только что беседовала с Рут, потому что дочь Рут, Ранди, живет в Лондоне, и Регина Мадсен как раз в этот день обедала с ней! Больше она ни о чем не говорила, а слова тщательно взвешивала, выложить много – значит предать Рут. С присущей ей сдержанностью Регина Мадсен и мне задала несколько вопросов. Сколько лет моему сыну? Она знает, что у меня есть сын. Когда я сказала, что он альтист, она удивилась, обронила что-то о яблочке и яблоне и умолкла, хотя я видела – ей хотелось о многом спросить, и будь ее воля, она бы еще немало вопросов мне задала, но проявить любопытство означало дать понять, будто это интересуется не ее саму, а Рут.

Когда родилась сестра, мне было шесть. Ее детские годы почти стерлись у меня из памяти. В воспоминаниях она, конечно же, присутствует, но словно на заднем плане, на руках у матери или отца. Мы ходили в разные школы, и мне сложно вспомнить нас вместе, даже летом, когда мы подолгу жили на даче в Рондане. Овец и лисицу я запомнила лучше, чем Рут, зыбкий образ сестры маячит где-то сбоку. Наверное, это и неудивительно, когда разница в возрасте настолько велика. Надеюсь, что причина в этом. Значит, я дружила с близняшками, отдохавшими на даче на противоположном берегу озера, а Рут одна сидела с матерью и отцом? Не помню. Рассказала ли ей Регина Мадсен о том, что встретила меня в Хитроу? Вероятнее всего, да. И о том, что Джон альтист. Рут наверняка удивилась, однако она все равно не получила ответа на самый сильно ее интересующий вопрос. Тут уж Регина ничего рассказать ей не могла. Как я живу *со всей этой историей?*

Номер телефона Рут в справочнике не значится. Чтобы я не звонила. Она злится на меня, потому что после моего отъезда ей нельзя было устроиться на работу, позволяющую уехать или путешествовать. Возможно, ей предложили интересную вакансию в Лондоне, но из-за матери с отцом она отказалась. Ограничения в жизни Рут появились из-за моего поступка, а после смерти отца от ее заботы стала зависеть мать. В те времена, когда я еще знала мать, та не водила машину, она всегда отличалась непрактичностью, нуждалась в помощи даже в мелочах и не стеснялась просить о ней, напротив, считала себя вправе, еще бы, она так долго носила маленькую Рут на руках, оплачивала ей секции и кружки, уж не припомню сейчас, какие именно Рут посещала. Но ведь старший брат матери Тур, который, если верить справочнику, жив и делит жилище с некой Туриль Гран, тоже может помочь? А вот и нет, они живут в Транбюгде, в двухстах километрах от матери, и у него наверняка своих дел хватает. Обращаться за помощью к Туру матери неловко, они никогда не были особенно близки, поэтому в первую очередь

она просит безграничной поддержки у собственных детей, то есть у Рут. Но мать разговаривает с Туром по телефону, это приносит ей радость, старики вообще часто разговаривают по телефону со своими оставшимися в живых ровесниками. Хотя, возможно, они рассорились, порой с братьями и сестрами такое случается. А еще мать наверняка часто встречается со своей двоюродной сестрой Гретой, овдовевшей настолько давно, что мать позвонила мне сообщить об этом. Я тогда сидела на берегу реки, телефон зазвонил, я увидела, что номер норвежский, узнала его, и сердце заколотилось, я ответила, решила, что мать звонит тайком, ничего не сказав ни отцу, ни Рут. Она скорбным тоном известила меня, что Халвор умер. Кто такой Халвор, я забыла, «муж моей двоюродной сестры Греты», – подсказала мать, я вспомнила и спросила, от чего. С ним внезапно случился инсульт. В трубке повисло молчание, после чего мать сказала, что Рут беременна. «Чудесно», – откликнулась я. Рут уже на седьмом месяце, у нее будет мальчик, которого назовут Рольфом в честь нашего отца, имена всех детей должны начинаться на «Р». Рут с Рейдаром купили дом недалеко от родителей, они навещают друг друга несколько раз в неделю. Голос ее был далеким и пустым. Про Джона она не спросила.

Я могла бы доехать до дома номер двадцать два по улице Арне Брюнс гате, но тогда я застала бы мать врасплох, и пользы от этого не было бы никому из нас.

Если верить справочнику, двоюродная сестра матери Грета живет в шаговой доступности от матери. Они наверняка часто видятся. Ездят на метро до Вассбюсетера и гуляют вместе по лесу там, куда я не отваживаюсь выбраться, потому что боюсь встретить их. Зато я обзавелась собственным лесом – сняла избушку в Бюмаркене, там-то я уж точно ни на кого не наткнулась. От парковки до избушки добираться двадцать минут, и пока на пути мне никто, кроме оленей, не встречался. Там мне хорошо работается. Я рисую деревья. Мать с Гретой доходят от Вассбюсетера до Грулейтет, а там пьют какао, за фигурой они больше не следят. Впрочем, возможно, они рассорились, с двоюродными сестрами такое случается, даже когда они уже старые. Если мать с Гретой не в ссоре, они доходят от Вассбюсетера до Грулейтет – это в том случае, если они ходят без ходунков. Рано или поздно все доживают до ходунков, нас ведет к ним старость. В последний год жизни мать Мины тоже пользовалась ходунками, но она была очень полная. Надеюсь, мать не слишком полная. Мать Мины двигалась невероятно медленно, судорожно вцепившись в рукоятку ходунков, костяшки пальцев белели, сама она походила на изувеченное насекомое, умирающая моль, умирающая муха – так же прозаично. В сетке, которая висела на ручке ходунков, лежал сборник кроссвордов, бумажная салфетка, печенье и пузырек с лекарствами. Седые волосы взлохмачены. Старики часто забывают причесываться, глядя на затылки стариков, я представляю себе их постели, почему это зрелище такое грустное? Раз-другой в детстве я расчесывала длинные медно-красные волосы матери, я чувствовала себя польщенной, и тем не менее мне было страшно. Расчесывает ли Рут волосы матери? Настолько ли они близки? Чувствует ли Рут, как от матери пахнет? Нравится ли Рут ее запах?

Я унаследовала материнские цвета. Рыжий-рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой.

Знают ли дети Рут обо мне? Вряд ли она скрывает от них, что у нее есть сестра. Им известно, что сестра у нее имеется, но они догадываются, что тема это больная. Я – больная тема? Да нет же, подумаешь, престарелая тетушка, кого это волнует? Если Рут или матери придется рассказать обо мне, если вдруг Грета нечаянно упомянет мое имя на восьмидесятипятилетнем юбилее матери – примерно сейчас они его и празднуют – и дети Рут спросят: «А это кто?» – что им ответят? Вероятнее всего, рассказ будет такой: Юханна была многообещающей студенткой юридического и вышла замуж на Торлейфа Рёда, но весной 1990 года она записалась на вечерние курсы акварельного рисунка, по уши влюбилась в американского преподава-

теля – какого-то Марка – и уехала вместе с ним. Когда дедушка заболел, она не приехала, и на похороны тоже. Какой позор. Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец. Или вот так: Юханна с детства была психически неуравновешенной и непредсказуемой, не думая о последствиях для других и себя самой, она потакала собственным желаниям. Не приехала на дедушкины похороны. Какой позор. Вот и сказке конец. Ни слова о моих работах, которые они, видимо, считают не искусством, а способом отомстить. И поэтому искусством они не интересуются, если кто-то чего-то не понимает, еще не значит, что это что-то – искусство, ха-ха. Поэтому, если дети Рут не узнают моей новой фамилии – а откуда бы им ее узнать? – они не прочтут всего, что есть в Интернете о моих работах и моем искусстве, да и с чего бы им читать это?

Надо же, неужели такое бывает? Разве дети обращаются так со своими родителями? Да, некоторые обращаются, причем родители не виноваты, особенно молодые женщины на такое горазды, когда потеряют голову из-за какого-нибудь мужчины и готовы отречься ради него от всей своей былой жизни. Скорее всего, это М. запрещает Юханне общаться с родными. Они же не знают, что он умер. Мать столько раз утверждала это, что сама поверила. Но тогда она ответила бы на мой звонок. А она не ответила. Значит, дело в моих картинах, они считают их оскорбительными. Триптих «Дитя и мать – 1»: в углу комнаты стоит мать, у нее огромные черные глаза, и она поглощена собственными мыслями, в другом углу – съежившийся ребенок, а тот, кто захочет, увидит и тень. Она падает на обе фигуры и похожа на мужчину в адвокатской мантии. Я бы не написала этой картины, не живи я в Юте, в восьми тысячах километров отсюда, поэтому я и переехала в Юту, за восемь тысяч километров. Когда мне предложили сделать выставку в родном городе, я сперва не захотела, это Марк меня переубедил. В Германии, Канаде и Японии выставка прошла успешно, и никто из критиков не выдвинул предположения, что прототипом матери на картине стала мать художницы, нет, образ матери сочли отвлеченным и поэтому близким многим, потому что, когда создаешь что-то, основываясь на собственном опыте, это часто находит отклик и среди других, – так говорил Марк, а он не был знаком с моими матерью и отцом. Они же могут воспринять это как предательство: теперь соседи и знакомые решат, что картины – своеобразный привет от живущей за морем дочери. Что я написала их, не задумываясь, каково будет отцу с матерью. А ведь таким вопросом должен задаваться каждый ребенок, собираясь поступить тем или иным образом. Принимая решение, отец непременно советовался с собственной матерью, бабушкой Маргретой, обладавшей низким голосом. Отец клялся следовать библейским заповедям, а вот я набралась наглости не слушаться родительских голосов. Что моя жизнь будет напрямую зависеть от рисования, в их расчеты не входило.

Но хуже всего, что отец умер, а я не явилась на похороны.

Я защищаюсь так, словно на меня нападают. Может, это потому, что я воспринимаю все-рез лишь собственные страдания, а не материнские? Каждому свои страдания ближе. Однако я подозреваю, что мои муки связаны с ее тайной, я давно об этом догадываюсь.

Я звоню матери, она не отвечает. Я пишу мейл Рут. Ты не разрешаешь матери разговаривать со мной? Рут не отвечает.

Я пишу: если мать скажет, что не желает говорить со мной, я не стану настаивать, но если это решение приняла ты, то знай – это большая ответственность. Так я даю понять Рут, что, по моему мнению, будь у матери выбор, она сняла бы трубку. Мне нужно знать мнение матери. Рут не отвечает. Со всех сторон молчание. Чего я ожидала и как восприняла бы ответ матери, если бы та написала мне со своего телефона: я не желаю с тобой говорить, никогда больше.

Мне кажется, если она скажет это вот так, грубо, я смирюсь, обрету покой.

В избушке мне спокойно, я езжу туда все чаще.

Двадцатое сентября, я сижу на крыльце. Уже три дня подряд сюда приходит лось, спокойный и невозмутимый, он проходил по лужайке, словно меня не существует, однако вчера он остановился возле кривой березы, повернул голову и посмотрел на меня. Я сидела, не шелохнувшись. Если он бросится на меня, я успею юркнуть в дом и закрыть дверь, да и с чего ему бросаться. Он дольше минуты смотрел на меня черными зеркальными глазами, после чего тяжелой поступью двинулся дальше и исчез за деревьями. Вечером я пошла прогуляться, в траве возле старого шлагбаума я нашла маленькие лисички, рвать их, нарушать покой леса я не стала.

Я вспоминаю черные лосиные глаза и угольным карандашом рисую его тяжелую приземленную поступь, рисунки угольным карандашом я смогу отдать для выставки-ретроспективы. Выйдя из избушки, я ложусь на лужайку, прикрываю глаза, и спустя некоторое время ко мне приходит ощущение тесной связи с шершавым мхом подо мною, влажность земли медленно пропитывает куртку и флисовые брюки, я мокну, тону сама в себе, чувствуя, как мокрая земная тяжесть тягивает меня, и мне становится ясно, что обращаться надо не к небесам, а вниз.

Сидя у камина, я снова позвонила, на этот раз мне было проще, словно какая-то преграда обрушилась, страх чуть отступил, звонок сбросили, и я снова написала Рут: «Ты стерла мой номер из телефона матери?» Знает ли Рут, что я полагаю, будто мать, если бы ей разрешили, сняла бы трубку, полагаю, будто мать хочет поговорить со мной, будто мои звонки – настоящее искушение для нее. Будто мать лелеет надежду на меня, но эта надежда соперничает со страхом перед Рут. Мать не способна уничтожить меня в себе настолько, чтобы не задаваться вопросом, как мне живется. Но я знаю – она не ответит, я уже поняла это и тем не менее звоню опять.

Если бы мать попросила меня приехать, когда отец болел, если бы мать позвонила и я услышала ее голос, который просит меня приехать на похороны отца, – поехала бы я? Мне представляется, что да. Вот только вместо матери со мной общалась Рут, а Рут не просила меня приехать. Возможно, мать просила Рут, чтобы та позвала меня, однако Рут ничего об этом не написала, потому что ей я не нужна. Я считаю – так проще всего, – что это Рут не отпускает мать.

Рут не отвечает, Рут молчит, а я не в состоянии работать. Я пишу Рут, что должна кое-что сказать матери. Что именно, я и сама не знаю, но ведь и Рут это неизвестно. Возможно, это связано с Джоном, вот только какое им дело до того, кого они ни разу не видели? Рут не отвечает. Она думает, что, если у меня имеется некое неотложное сообщение для матери, я вполне могу написать письмо и отправить его почтой. Она же, заботясь о матери, сперва ознакомится с содержанием письма и лишь потом позволит матери прочесть его. Поэтому Рут время от времени просматривает почту матери. У Рут есть ключи от квартиры матери и от почтового ящика тоже, однако Рут еще и работает, так что тут надо учитывать, во сколько приходит почтальон и во сколько мать вынимает почту из ящика, непростую задачу Рут себе придумала. Я представляю себе, как в обеденный перерыв она уходит с работы, идет к дому номер двадцать два по улице Арне Брюнс гате и отпирает почтовый ящик матери в надежде обнаружить в нем письмо от меня, а в письме... Да, что же там?

Я не кто попало. Дрожащими руками разорвут они письмо от меня. Потому что я дочь, сестра, потому что друг для друга мы – мифологические величины и потому что мы враги, а разве бывает неинтересен собственный враг? Но мне они не отвечают, их обида берет верх над любопытством. Кем я себя вообще возомнила? Гажу в родное гнездо и названиваю как ни в чем не бывало. Я что же, думаю, у матери нету гордости? А ведь гордость тоже следует учитывать.

Сижу в избушке и замечаю, что лосю что-то нужно от меня. Он приходит каждый день часа в два, проделывает один и тот же путь через лужайку, натаптывает тропинку за сухой сосной, но всегда останавливается возле моего друга-камня и смотрит на меня. Сегодня утром шел дождь, и я думала, что лось не придет, дождь закончился, запел черный дрозд, через огромное небо перекинулась двойная радуга, и появился лось.

Когда я написала, что должна сообщить матери кое-что важное, Рут не отнеслась к моим словам всерьез, но, по сути, я права, потому что мне действительно нужно сказать ей кое-что важное, хотя у меня нет для этого слов и смысла сообщения я не знаю. К рациональной сфере это не относится.

Я сижу на террасе и смотрю на клены внизу, на тонких, но упругих ветках по-прежнему осталось несколько засохших листьев, похожих на потухшие китайские фонарики.

Мать встает и включает кофеварку. Пока кофе варится, она идет в прихожую, открывает дверь и поднимает с коврика газету, мать по-прежнему подписывается на бумажные газеты. Она несет газету на кухню и открывает страницу с некрологами, некро-дверь в газету. Надеюсь, телевизор она не включает. Рут позаботилась о том, чтобы у матери были все каналы, возможно, телевизор у матери работает с утра до вечера, но надеюсь, что нет. В моем воображении мать, пока кофе варится, включает радио. Я включила радио, жду, когда кофе будет готов.

Сидя за столом в кухне, мать видит деревья, но непохожие на те, что я вижу из избушки, не сосны, не ели и не пару кривых берез. Деревья на фотографии из телефонного справочника похожи на те, что видны с моей террасы, это специально посаженные клены, я придумываю, как мать садится за стол на кухне и смотрит на деревья. В моем воображении мать пьет кофе и грызет сухарик с маслом и козьим сыром, кленовые листья, на которые она смотрит, едва тронула желтизна, их золотит солнце, его лучи пробиваются сквозь листья и освещают ей лицо, над ней синее небо, то же, что и надо мной, сложно поверить, что мы обе его видим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.